

ВЫСОКИЙ ОБРАЗЕЦ

Полсотни лет тому назад учился я в старой церковно-приходской школе. Словесностью нас не перегружали, все больше насидали на чтение молитв и катехизиса. За три или четыре года пребывания в школе я выучил несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова; остальная художественная литература была такого рода, что когда теперь она вдруг всплывает в моей памяти, я шарахаюсь, и шепчу: «Что за дьявольское наявление!»

Из этого можно понять, что школа не привила мне вкуса к хорошей поэзии и прозе, и я самым естественным порядком перешел в чтение уголовно-приключенческих романов, которые в изобилии тогда «прилагались» к журналам «Родина», «Вокруг света», «Природа и люди».

Лет тридцати-четырнадцати прошел я впереди «Степи», прочел и долго сидел спешливый, испуганный. Мне казалось чрезвычайно странным, что это произошло не напечатано в книге. Книгу я привык уже считать чем-то зачтанным, вроде игр в лапту или бабки, и никак не ожидал, что она способна показать мне настоящую жизнь. Я жил тогда в городе Павлодаре, на краю обширной степи, и кое-когда же жег костры в логах бреднем рыбу в озерках и речках, и так же заставала меня гроза... правда, люди в моей степи были похожи, но ведь люди бывают разные, может, я встречу людей получше?..

Удивительным казалось и то, что «Степь» напечатана, а похожа на сказку. Дело в том, что сказки, слышанные мною лет семь-восемь назад, деревне, казались мне тогда полнейшей правдой, я верил в них целиком и безраздельно и очень был удивлен, если бы увидел их в книгах напечатанными. Вот такой же правдой казалась мне «Степь». Словом, запуталась я в своих чувствах... да как же иначе, если встречаешься впервые с подлинным искусством?

Затем, лет через восемь или около того, решил я стать писателем. Литературных знаний я, в сущности говоря, не имел никаких. С большим трудом достал я «Учебник словесности», прочел о периодах, метафорах, анекдотах, хореях — и ничего не понял. Прочел еще раз, прочел и в третий, — понял еще меньше. «Ну, думаю, видно учебник плох». Добыл другой, потолще первого. Прочел его раз, два, три. Примеры замечательные, красивые, — но как их приложить к моему случаю, совершенно непонятно!

Я тогда работал наборщиком в типографии. Работа интересная, но, к сожалению, городская и не дает возможности попасть в деревню и пожить там. Я и вздумал научиться саможонному ремеслу, чтобы бродить, сапожничая, по деревням. Знакомый сапожник обещал меня научить. Да драки, шило, нитки, вар, показал, как вести шов, а затем сказал:

— Теперь бери кожу и шей шлепанцы. Но ране всего постараюсь перед собой готовые шлепанцы и сяди по ним, как хороший сапожник шов ведет. Ты за него плати.

Отложил я в сторону «Учебник словесности», положил перед собой Чехова и стал думать. Затем начал читать, медленно, не торопясь, «идя по шву».

Дальше выяснилось: любопытное обстоятельство. В типографии, кроме ведомостей, афиш, визитных карточек, мне приходилось делать и так называемый книжный набор: я набирал различные отчеты, какие-то местные журнальчики, словом, чепуху страшную. Внимательно читать это было очень противно, и я привык себя набирать, не думая о смысле того, что я набираю. Кладу в верстак ту букву за буквой, выставляю, связываю набор, тискаю,

а сам думаю о своем или читаю про себя какие-нибудь хорошие стихи.

И вот, когда я начал читать то, что мне нужно и важно, — Чехова, — то оказалось, что я прочитал полстраницы, а осталось читать совершенно машинально, не думая о содержании, ни о том, каким способом написана книга, как созданы леттеры.

Я сам думал о своем или читаю про себя какие-нибудь хорошие стихи.

Недавно мне пришло побывать в Утене, одном из отдаленных районов Литвы.

Бедным и отсталым был этот край до установления советской власти. Ныне здесь гудят мощные тракторы, поднимая тяжелые, много лет ненахождые залежи.

Я много слышал о трактористах — бригадире Урушле Говедайте, Женницина-маханизатор — это явление новое и еще до четырехклассного образования пришло в МТС рабочих, тихих девушек. Теперь она — выдающаяся производственница, окончившая две специальные школы механизаторов.

Я испугался, а затем, подумавши, достал бумагу и чернила и стал переписывать Чехова, слово за словом, фразу за фразой. Такое это было великолепие наслаждение! И какие гигантские богатства ума и чувств открыты я! Удивительное дело: я знал, о чем рассказывается, скажем, в «Степи», но когда я ее переписывал, я забывал о том, что в повести рассказывается, и видел все так, как будто я читаю повесть впервые.

И теперь, когда мне не работаетя, я пишу Чехова, слово за словом, фразу за фразой.

Она называла несколько имен. Одним из первых был упомянут Чехов и его повести «Мужики» и «В ограждении».

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от времени на меня нахало унылое: события огромные, людьми много, пытаются ли я из этого хлопот? И тут я снова брал Чехова, — и этот добрый человек снова воодушевлял меня!

Человеческое тщеславие петляет самым поразительным образом. Когда я нес рукопись «Партизан» Горькому и мне казалось, что он скажет: «Но, слабо, надо еще работать», я намеревался сказать ему, что я усерднейшим образом вставил в свой Чехов.

Чехов, вглядываясь в меня, сказал:

— Ах, какой темной была деревня, какая нужда была, какими кровопийцами были кулахи!.. И хотя Чехов писал про Россию, но и у нас все та же была... Мне хотелось плакать я... И... — бригадир опустяла голову и ее голубые глаза погрустили при воспоминании о прочитанном, — и я, признаться, плакала и от горя и от радости. От радости. От радости, что такой жуткой жизни нет...

И тогда, в далекой деревне Утенского района, я еще раз ощущил, что есть книга, которую никогда не умрут. В своей гениальной прозе Чехов вкладывал все свое сердце. А такие произведения не забываются на нас, и нужно, чтобы мы сами удавились на них. Так размышила, я переписывая Чехова, переписывал его, и когда показалось, что меня воодушевил этот очень хороший человек, я, сел писать. Время от

1904

А. П. ЧЕХОВ

1954

Сапира Чехова

Во «Внутреннем обозрении» (1901) В. И. Ленин писал, что «общественное возбуждение растет в России во всем народе, во всех его классах...»

Чехов и был тем гениальным художником, который с замечательной чуткостью передал рост этого возбуждения так, как оно отражалось в повседневности, в быту и особенно в психологии, в «тонких душевых движениях» людей.

Ленин в цитированной статье отмечал «непримиримость самодержавия с какой бы то ни было самостоятельностью, честностью, независимостью убеждений, гордостью настоящего знания».

Чехов как раз и проповедовал гордость настоящего знания, честность, независимость убеждений. Лирически передавая писатель еще смутное, но крепкое и становившееся все более сознательным оживление «дорогой, сильной бури» (слова Пузенбаха), стремление к изменению жизни, проникшее уже и в темные массы.

Одновременно средствами сатиры боролся Чехов не только против крепостнической реакции, представителей которой, по словам Ленина, подозрительно относились ко всем, кто не походил на человека в футляре, но и против буржуазии и буржуазной интеллигентии, людей самодовольных, спокойных, почтливых, державшихся за старое, рутинное, пытающихся уверить себя в незыблемости существующего.

Тот «разлад между настоящим и прошлым», о котором Чехов упоминал в одном письме 1899 года, был центральной темой его творчества. Многократно в устах и сознании чеховских персонажей возникают мысли, умонастроения, вызывающие представление о том, что жизнь стоит на месте. Но каждый раз это пессимистическое чувство опровергается более глубоким восприятием действительности, внутренним ходом развития произведения.

Чехов выступает как сатирик с первых своих шагов в литературе. «Я не нахожу ложь и насилие во всех их видах». Это чувство, владевшее писателем всю жизнь, питало уже первые его рассказы, в которых явно обнаруживается близость к Гоголю и Шедрину. Гоголь вспоминается, когда читавшие чеховские истории о чиновнике «мелозе». Как это часто бывало и у Гоголя, именно иллюстрией аналог (например, «Смерти чиновника») передает Чехова всю смехотворную дикость отношений в среде «толстых и тонких».

Чехов-писатель формировался в обстановке мощного влияния Шедрина — признанного вождя передовой литературы 80-х годов. В. Ермилов правильно говорит об «атмосфере увлечения Шедриным» вокруг молодого Чехова. В ряде ранних произведений начинающего писателя, особенно в коротеньких, полных острых политических намеков фельетонах-миниатюрах 1882—1885 годов, воздействие Шедрина выражается в прямом следовании щедринской сатирической манере и терминологиями (*«торжествующая свинья»* и т. п.). В фельетоне «Обер-верхи», обыватель по-щедрински «припадке сомнения сделал у самого себя обье». Не нашедший ничего просудительного, он все-таки сводил себя в квартал».

Явное воздействие «Коняги» существует и в чеховских «Синтинах», в которых юноши-сталинисты в выражениях, почти повторяющих обращенные к Коняге поэмы пустынников, славословят мужицкую «правственную силу» (т. е. забытость и покорность).

Но не в подражании Шедрину, быстро исчезнувшем, выразилась глубокая связь сатиры Чехова со щедринской традицией. Эта связь — в наименуемых обоих писателях многих общих врагов и в преемственности борьбы против них.

В рассказе «Трифон» (1884) помещик измучен мыслью о невозможности выпо-

рить, «как прежде», своего обезличителя и уничтожено умом Трифона разрешить сделать это за деньги. Как заметил Шедрин, сатирическая обобщка психологии и политические «принципы» дикого помещика, «есть наслаждение и в сечении»...

Картина жизни в произведениях Чехова с каждым годом расширялась. Все сильнее звучит у Чехова мотив роста жизни. С этим связано углубление чеховской сатиры, становящейся одним из средств многослойного реализмического изображения действительности.

Человек враждебный новому, часто выступает у Чехова на фоне таких вновь возникших жизненных явлений, перед которыми он беспомощен. Так, например, Трифон бросает лебезящему перед ним барину горюч: «не согласен!», смотрит на него «каким-то побежденным нахальством». Он уже знает то «чувство самоуважения», видеть которое у миллионов простых русских людей так мечтал Шедрин.

А унтер Пришибеев, это почти символическое воплощение тупого полицейского деспотизма? От него нет житья окружающим его людям, он всех замучил. Но он предстает перед нами в момент, когда он выбыт из колеи: «для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно».

Через все творчество Чехова проходит образ, чрезвычайно близкий духу щедринской сатиры. Это образ человека, не любящего жизни, боящегося нового и враждебного ему, мечтавшего о возврате к прошлому, стремящегося остановить движение жизни, сознать ее, заключить в футляр. Появившись уже в ранних произведениях, этот образ становится все глубже и глубже и, наконец, воплощается в классическую фигуру «человека в футляре».

Чеховский человек в футляре опасен, ему подчиняются, он создает удушающую атмосферу, но, в отличие от щедринских ретивых начальников, он сам уже напуган тем, что происходит вокруг. Поэтому он

и притягивается к футляру, а жизнь, вместе

с тем, чтобы испортить, оставляет движение жизни, благородный блеск наших людей. И вот в этом отношении творческий продолжение традиций Чехова, умевшего чувствовать красоту и поступательное развитие русской жизни даже тогда, когда эти черты были не всегда ясно заметны, а многими отрицались вовсе, может оказаться в высшей степени плодотворным.

Чехов, разоблачая прошлое, выступал против лиц и нравов, всем своим существом придавленных прошлому, создавая уничижающие сатирические типы. Но люди, хотя и обладающие сердце-зенитами, но способным проснуться и идти вперед, великий писатель помогал «выдавливать из себя по каплям раба», если использовать чеховское выражение.

Чехов учит моральной требовательности, умению находить типические пережитки прошлого в психологии и быту, вскрывать социальные корни. Так, в рассказе «Супруга» Чехов, заставив своего героя вспомнить в семейной фотографии, точно указывает социальный «адрес» всей этой груди и пошлисти, разоблачает чиновническую-бумажную «компанию хищников».

Опыт Чехова может во многом помочь советской сатире и, в частности, помогает проследить, откуда и как пережитки капитализма, разного рода чужие нам мысли и настроения прокраиваются в наше светлое настоящее.

Горский называл Чехова «жестоким и строгим судьей» пошлости. Этот судья — верный союзник советских людей в борьбе со всем засоряющим и захламляющим сознание и быт, пытающимся отобрать мысль и чувство ядами прошлого, мешающим нашему движению вперед.

Чехов использует жанр сатирической миниатюры и в годы расцвета своего творчества. Об этом свидетельствует, в частности, «Рыбья любовь» (1892), где в «ска-

зочном форме» при помощи резкого сатирического застенания вымысел пессимизм буржуазной интелигентии, пессимизм демократии. Чеховский кардас — «молодой пессимист», который «влюбился по самые уши в лачину Союза Мамонтина», — заставляет вспомнить щедринского «кардас-идеалиста». Но если щедринский герой жил романами илиллюзиями и денежным оптимизмом либерального народничества и самонадеянно вел с щукой дебаты по вопросу о добродетели до тех пор, пока она его не заглотала, то у Чехова безнадежно влюбившийся «молодой пессимист» сам жаждет смерти и хочет оказаться в пасти у щуки.

И, как отмечает в заключение Чехов, сей кардас заразил пессимизмом некоего поэта, вздумавшего выкупаться в этом пруду, а тот «заразил всех поэтов пессимизмом».

Указание Коммунистической партии «нам нужны советские Гоголи и Шедринсы...» говорит об огромном значении традиций русской классической сатиры.

Творчество Гоголя и Шедрина сложными нитями связано с творчеством таких великих реалистов, как Герцен, Некрасов, Островский, Глеб Успенский, внесших свой вклад в развитие русской сатиры.

К этим писателям принадлежит и Чехов, чье наследие имеет для советского сатирического искусства, для теории сатиры очень большое значение.

В замисленных книжках писателя сохранилось запись: «Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет инициальной; надо работать, имея в виду только будущее». Эта борьба за будущее пронизывает собой все творчество Чехова, одного из великих писателей русской демократии. Даже в обстановке странной «платформы № 6» Громов глубоко убежден в том, что «носите эзотерика новой жизни, восторжествует правда».

В нашей жизни, в отличие от времени Чехова, положительное является господствующим и определяющим. Но советский сатирик, сосредоточив свое внимание на отрицательном и плохом, вместе с тем, чтобы испортить, оставляет движение жизни, благородный блеск наших людей. И вот в этом отношении творческое продолжение традиций Чехова, умевшего чувствовать красоту и поступательное развитие русской жизни даже тогда, когда эти черты были не всегда ясно заметны, а многими отрицались вовсе, может оказаться в высшей степени плодотворным.

Чехов, разоблачая прошлое, выступал против лиц и нравов, всем своим существом придавленных прошлым, создавая уничижающие сатирические типы. Но люди, хотя и обладающим сердце-зенитами, но способным проснуться и идти вперед, великий писатель помогал «выдавливать из себя по каплям раба», если использовать чеховское выражение.

Чехов учит моральной требовательности, умению находить типические пережитки прошлого в психологии и быту, вскрывать социальные корни. Так, в рассказе «Супруга» Чехов, заставив своего героя вспомнить в семейной фотографии, точно указывает социальный «адрес» всей этой груди и пошлисти, разоблачает чиновническую-бумажную «компанию хищников».

Опыт Чехова может во многом помочь советской сатире и, в частности, помогает проследить, откуда и как пережитки капитализма, разного рода чужие нам мысли и настроения прокраиваются в наше светлое настоящее.

Горский называл Чехова «жестоким и строгим судьей» пошлости. Этот судья — верный союзник советских людей в борьбе со всем засоряющим и захламляющим сознание и быт, пытающимся отобрать мысль и чувство ядами прошлого, мешающим нашему движению вперед.

Чехов использует жанр сатирической миниатюры и в годы расцвета своего творчества. Об этом свидетельствует, в частности, «Рыбья любовь» (1892), где в «ска-



Антон Павлович Чехов, его жена Ольга Леонидовна Книппер-Чехова и сестра Мария Павловна на прогулке в окрестностях Ялты в 1902 году.

Его письмо...

Спешит на почту малчик Ваня Жуков.

Спасительное спрятав письмо. Один из многих тысяч русских внуков.

Он детства даже не видел в лицо.

Мол, худо в людях, дедушка, живется.

Возьми меня в деревню поскорей!..

Прочтет чиновник адрес,

посмеется,

припрячет, как забаву, для друзей.

Откуда знать ему, что эти строки,

застрявшие в почтмейстерском столе,

От сердца к сердцу по прямой дороге!

Пойдет сквозь все столетья по земле!

Подумай только, малчик Ваня Жуков,

Что столько нынче у тебя родных!

На все деревни дедушкам и внукам

Твое письмо приходит в наши дни.

Поместил, живется,

...Идут ребята прямо к башне Спасской,

В Кремле сегодня вечер выпускной.

Так вот она, счастливая развязка Рассказа, что лежит передо мной!..

Николай ДОРИЗО

НОВАЯ ПОЧТОВАЯ МАРКА

Министерство связи выпустило новую почтовую марку, посвященную 50-летию со дня смерти А. П. Чехова. На марке — портрет великого русского писателя. Ее олицетворяет молодая девушка, вскрывающая почтовый ящик.

Сегодня, 15 июля, новая почтовая марка поступит в обращение.

Пятьдесят волнующих минут

На экраны страны вышел документальный фильм «Чехов». Фильм этот — одновременно и биография Чехова, и рассказ о творческом пути писателя, и собрание совершеннейших образцов толкования чеховских произведений на сцене и в изобразительном искусстве.

По жанру документальный кинофильм у же раз встретились с творчеством режиссера картины С. Бубрика, создавшего фильмом «Владимир Маяковский», «Максим Горький», «Пушкин», «Белинский». Фильм «Чехов», на мой взгляд, — лучшая его работа.

Казалось бы, все ясно: существует биография Чехова, есть хорошие исследования о его творчестве, — режиссер оставил все это только изложил языком кино. Но здесь и начинается самое трудное. Биография писателя должна быть раскрыта в фильме образно, в подлинных кинодокументах, запечатленных непосредственно на месте, там, где протекала его жизнь. И вот, вооруженный киноаппаратом, он начал съемки. Киноаппарат, на балконе засыпая настолько стереоскопиче-

ской пылью, на экранах здания таганрогского театра, куда Антона Чехова приходил задолго до начала спектакля, чтобы успеть занять лучшее место наверху, на галерее. Кинообъектив «заглядывает» в круглые оконечности классической комедии Н. Ивановых-Радищевичем, на которой учился Чехов.

Все новые места возникают перед зрителями. Вот когда-то занятых городов Кобруссен, Истры, где Чехов работал в земской больнице, где раскрылась его судьба писателя, — сейчас это только изложенный языком кино. Но здесь и начинается самое трудное. Тогда Чехов к людям, надо подкрепить и выставить возможно реалистично нечто, нечто, что не было в его детстве и юности, а он оставил в своем творчестве.

В литературе он работал, как фабрика, Люди помогают, как неутомимы и деятельны, можно было бы подумать, что я пишу не об одном человеке, заграждении, то есть о всем мире, то есть о его детстве и юности. Это — первое, что нужно сказать о нем: человек феноменальной энергии, необыкновенных душевных ресурсов.

И его творческое вмешательство в жизнь, эти его иконы, сады, библиотеки, погребы, которым отдавал он весь свой досуг, также неопровергнутое об избытке его созидающих сил.

3. Из всех людей, когда-либо встречавшихся с Чеховым, не было, кажется, ни одного, кто, помимо членов семьи, не отдал бы глубокий народный характер, не отметил бы яркую народную черту его характера: яркую ненависть к санитаризму и чванству.

Он словно задачу перед собой поставил: не выявить ни перед кем своего я, но угадать никого своими заслугами, своим превосходством.

И когда печаталась полная собрание сочинений, он, как об осенних усехах, просил издателя не печатать при этом собраний ни его портрета, ни его биографии. И настоял на своем. Его биография в этом издании нет, хотя давняя традиция требовала, чтобы на первых страницах первого тома полного собрания сочинений помещалась биография автора.

